



ЧТО БЫВАЛО

БЕЛЫЙ ДОМИК

Мы жили на море, и у моего папы была хорошая лодка с парусами. Я отлично умел на ней ходить — и на веслах и под парусами. И все равно одного меня папа никогда в море не пускал. А мне было двенадцать лет.

Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на два дня уезжает из дому, и мы затеяли уйти на шлюпке на ту сторону; а на той стороне залива стоял очень хорошенький домик: беленький, с красной крышей.

А кругом домика росла рощица. Мы там никогда не были и думали, что там очень хорошо. Наверно, живут добрые старик со старушкой. А Нина говорит, что непременно у них собачка и тоже добрая. А старики, наверное, простоквашу едят и нам обрадуются и простокваши дадут.

И вот мы стали копить хлеб и бутылки для воды. В море-то ведь вода соленая, а вдруг в пути пить захочется?

Вот отец вечером уехал, а мы сейчас же налили в бутылки воды потихоньку от мамы. А то спросит: зачем? — и тогда все пропало.

Чуть только рассвело, мы с Ниной тихонько вылезли из окошка, взяли с собой наш хлеб и бутылки в шлюпку. Я поставил паруса, и мы вышли в море. Я сидел как капитан, а Нина меня слушалась как матрос.

Ветер был легонький, и волны были маленькие, и у нас с Ниной выходило, будто мы на большом корабле, у нас есть запасы воды и пищи, и мы идем в другую страну. Я правил прямо на домик с красной крышей. Потом я велел сестре готовить завтрак. Она наломала мелко хлеба и откупорила бутылку с водой. Она все сидела на дне шлюпки, а тут, как встала, чтобы мне

подать, да как глянула назад, на наш берег, она так закричала, что я даже вздрогнул:

— Ой, наш дом еле видно! — и хотела реветь.

Я сказал:

— Рева, зато старичков домик близко.

Она поглядела вперед и еще хуже закричала:

— И старичков домик далеко: несколько мы не подъехали. А от нашего дома уехали!

Она стала реветь, а я назло стал есть хлеб как ни в чем не бывало. Она редела, а я приговаривал:

— Хочешь назад, прыгай за борт и плыви домой; а я иду к старичкам.

Потом она попила из бутылки и заснула. А я все сижу у руля, и ветер не меняется и дует ровно. Шлюпка идет гладко, и за кормой вода журчит. Солнце уже высоко стояло.

И вот я вижу, что мы совсем близко уж подходим к тому берегу и домик хорошо виден. Вот пусть теперь Нинка проснется да глянет — вот обрадуется! Я глядел, где там собачка. Но ни собачки, ни старичков видно не было.

Вдруг шлюпка споткнулась, стала и наклонилась набок. Я скорей опустил парус,

чтобы совсем не опрокинуться. Нина вско-
чила. Спросонья она не знала, где она,
и глядела, вытаращив глаза. Я сказал:

— В песок ткнулись. Сели на мель. Сей-
час я спихну. А вон домик.

Но она и домику не обрадовалась, а еще
больше испугалась. Я разделся, прыгнул
в воду и стал спихивать.

Я выбился из сил, но шлюпка ни с места.
Я ее клонил то на один, то на другой борт.
Я спустил паруса, но ничто не помогло.

Нина стала кричать, чтобы старичок
нам помог. Но было далеко, и никто не вы-
ходил. Я велел Нинке выпрыгнуть, но и это
не облегчило шлюпку: шлюпка прочно вко-
палась в песок. Я пробовал пойти вброд
к берегу. Но во все стороны было глубоко,
куда ни сунься. И никуда нельзя было уйти.
И так далеко, что и доплыть нельзя.

А из домика никто не выходил. Я поел
хлеба, запил водой и с Ниной не говорил.
А она плакала и приговаривала:

— Вот завез, теперь нас здесь никто не
найдет. Посадил на мель среди моря. Ка-
питан! Мама с ума сойдет. Вот увидишь.
Мама мне так и говорила: «Если с вами что,
я с ума сойду».

А я молчал. Ветер совсем затих. Я взял и заснул.

Когда я проснулся, было совсем темно. Нинка хныкала, забившись в самый нос, под скамейку. Я встал на ноги, и шлюпка под ногами качнулась легко и свободно. Я нарочно качнул ее сильнее. Шлюпка на свободе. Вот я обрадовался! Ура! Мы снялись с мели. Это ветер переменялся, нагнал воды, шлюпку подняло, и она сошла с мели.

Я огляделся. Вдали блестели огоньки — много-много. Это на нашем берегу: крохотные, как искорки. Я бросился поднимать паруса. Нина вскочила и думала сначала, что я с ума сошел. Но я ничего не сказал. А когда уже направил шлюпку на огоньки, сказал ей:

— Что, рева? Вот и домой идем. А реветь нечего.

Мы всю ночь шли. Под утро ветер перестал. Но мы были уже под берегом. Мы на веслах догреблись до дому. Мама и сердилась и радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы отцу ничего не говорила.

А потом мы узнали, что в том домике уже целый год никто не живет.

ХРАБРОСТЬ

Я о ней много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть храбрым: все уважают, а другие и боятся. А главное, думал я, никогда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тянут бежать, а то от трепету до того слабнут, что коленки трясутся и, кажется, лучше б лег и живым в землю закопался. И я не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлостей на свете делается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной правды предано из-за трусости: «Не хватило воздуха сказать!»

И я знал, что по-французски «трус» и «подлец» — одно слово — «ляш». И верно, думал я: трусость приводит к подлости.

Я заметил, что боюсь высоты. До того боюсь, что если лежу на перилах балкона на шестом этаже, то чувствую, как за спиной так и дует холодом пустота. Просто слышу, как звенит, проклятая, холодом своим. И говорю тогда невпопад: оглушает сзади пустота.

Я раз видел, как на подвеске красил купол кровельщик. Метров сорок высоты, а он на дощечке, вроде детских качелей.

Мажет, как будто на панели стоит, еще закурил, папироску скручивает. Вот я позавидовал! Да если б меня туда... я вцепился б, как клещ, в веревки или уж прямо бросился бы вниз, чтоб разом покончить со страхом: это самое больное, самое непереносимое чувство. Я выследил этого храбреца и вечером пошел за ним. Он пошел прямо на реку. Стал раздеваться. Я рядом. Я, при таком храбреце, пробежал по мосткам до самого краю и с разбегу бух головой: глубоко там, не ударишься. Выплыл. Смотрю: мой кровельщик стоит по пояс в воде и плещет на себя, приседает, как баба. Я ему:

— Дяденька, иди сюда, здесь водица свежей.

А он:

— Ишь прыткий какой. Тама, гляди, утонуть можно.

— Да тут тебе по шею.

— Ладно! Не ровен час, колдобина али омут какой. Ну тебя к лешему! Не мани.

— А как же выси-то не боишься?

— По привычке.

А поначалу сказал, что страховито было.

Я решил, что приучу себя к высоте. И стал нарочно лазить туда, где мне казалось страшно.

«Но ведь не одна высота, — думал я. — А вот в огонь полезть. В пожар. Или на зверя. На разбойника. На войне. В штыки, например».

Я думал: вот лев — ничего не боится. Вот здорово. Это характер. А чего ему бояться, коли он сильней всех? Я на таракана тоже без топора иду. А потом прочел у Брема, что он сытого льва камнем спугнул: бросил камнем, а тот, поджавши хвост, как собака, удрал. Где же характер?

Потом я думал про черкесов. Вот черкес — этот прямо на целое войско один с кинжалом. Ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит:

— А спрыгнет твой черкес с пятого этажа?

— Дурак он прыгать, — говорю.

— А чего же он не дурак на полк один идти?

Я задумался. Верно: если б он зря не боялся, то сказать ему: а ну-ка, не боишься в голову из пистолета стрелять? Он бац! И готово. Этак давно бы ни одного черкеса живого не было. С горы в пропасть прыгали бы, как блохи, и палили бы себе в башку из чего попало. Если им смерть нипочем. Ясное дело: совсем не нипочем, и небось

как лечатся, когда заболеют или ранены. Зря на смерть не идут.

Вот про это «зря» я увидел целую картину.

Дело было так. Был 1905 год. Был еврейский погром. Хулиганье под охраной войск убивало и издевалось над евреями как хотело. Да и над всяким, кто совался против. И образовался «Союз русского народа»... казенные погромщики, им даны были значки и воля: во имя царя-отечества наводить страх и трепет. В союз этот собралась всякая сволочь. А чуть что — на помощь выезжала казачья сотня, на конях, с винтовками, с шашками, с нагайками. Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов в семь хотя бы вечера и видишь: идет по тротуару строем душ двадцать парней в желтых рубахах. Кто не понравился — остановили, избили до полусмерти и дальше. Дружина «Союза русского народа».

В это время как раз приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине. Днем, на улице. Я ни о чем другом тогда не подумал, только: неужто струшу? И сказал: «Идет»... Он мне дал револьвер. А за револьвер тогда, если найдут, — ой-ой! Если

не расстрел, то каторга наверняка. Уговорились где, когда. «И Левка будет». А Левку я знал. И удивился: Левка был известен как трус. Его называли Левка-жид, и он боялся по доске канаву перейти. Воин! Однако часов в пять вечера все оказались в сборе. И Левка. Место было то, с которого начинала орудовать дружина. Нас было семеро. Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела: еврейский квартал. Дружина идет строем. Мы стоим, прижавшись к домам. Нас не видно.

У меня сердце работало во всю мочь: что-то будет? Чем бы ни кончилось, все равно замечен, и потом... Все равно найдут. Стрельба на улицах... Военный суд. Виселица.

Вдруг один из дружинников поднял камень — трах в окно. В тот же момент выстрелил наш вожак. Это значило — открывай огонь. Наши стали палить. Мой выстрел был седьмым. Но я думал, что есть еще утек: есть возможность замести следы. Дружина шарахнулась. Их начальник что-то крикнул, все стали на колени и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из